

Юрий Николаевич
ТЫНЯНОВ
1894–1943

Часть первая

ДЕТСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Маиор был скуп. Вздохнув, он заперся у себя в комнате и тайком пересчитал деньги.

Вспомнив, что еще в гвардии остался ему должен товарищ сто двадцать рублей, он огорчился. Шикнув на запевшую не вовремя канарейку, переоделся, покрасовался перед зеркалом, обдернулся, взял трость и, выбежав в сени, сухо сказал казачку:

— Собирайся. Да надень что-нибудь почище.

Потом, засеменя к боковой двери, приоткрыл ее и сказал нежно:

— Я пойду, душа моя.

Ответа не было. На цыпочках пройдя к выходу, маиор тихонько открыл дверь, стараясь, чтоб не скрипела. Казачок шел за ним с баулом.

Дом стоял во дворе, за домом был сад с цветником, липой и песчаными дорожками. Казачку было велено гнать оттуда соседских кур.

Дворовый пес, заслышав шаги, пророптал во сне. Маиор юркнул в калитку. Шел он довольно свободно, но было видно, что опасается, как бы не окликнули.

Он пошел по улице. Немецкая улица, где он жил, была скучна: длинный, серебристый от многолетних дождей забор, слепой образок на воротах и — грязь. Дожда давно не было, а грязь все лежала — комьями, обломками, колеями. Шли какие-то немцы-мастеровые, баба несла гуся. Он не взглянул на них. Переулками он

вышел к Разгуляю — местности, получившей свое название от славного кабака. Здесь он стал нанимать дрожки, торгуясь с извозчиком, причем лицо его сделалось необыкновенно черствым; извозчика нанял до Покровских ворот. Кляча потрухивала, а сзади бежал казачок с баулом. У Покровских ворот майор слез и вышел на бульвар.

Выйдя на бульвар, он преобразился.

В голубом галстуке, под цвет глаз, опираясь на легкую трость, он косил по сторонам и шел медленно, обмахиваясь шелковым платком, как бы ловя полуоткрытым ртом прохладу бульвара. Вскоре он купил у девочки сельский букет. Был июль месяц, и солнце пекло. Казачок шел за ним на большом расстоянии.

Так он прошел до Мясницких ворот и добрался до Охотного ряда. Шел он беззаботно, слегка подпрыгивая и беспрестанно озираясь на проходящих женщин. Казачок, отирая пот рукавом, брел за ним. Он спустился в винный погреб. Несмотря на ранний час, здесь уже были два знатока, спорившие о достоинствах бургонского и лафита. Он долго выбирал вино, стараясь выбрать лучше и дешевле. Выбрав три бутылки, одну Сен-Пере и две лафита, он небрежно уплатил и, указав на вино казачку, сказал нежно и так, чтоб слышали окружающие:

— Да ты адрес, дурачок, помнишь? Ну конечно не помнишь. Повтори же: рядом с домом графини Головкиной, дом гвардии майора Пуш-ки-на. Там тебе всякий скажет. Нет, ты, дурак, не запомнишь. Я уж запишу, ты у бутошника спроси.

И с легким смехом записал.

Казачок бесчувственно смотрел на него и сунул записку в дырявый карман.

2

Гвардии майор, или, вернее, — капитан-поручик, уже год как был в отставке и служил в кригс-комиссариате, так что и форма его была совсем не гвардейская,

но он все еще называл себя: гвардии майор Пушкин. Время стояло «хладное», и «дул борей» или «норд» для хороших фамилий, как говорили для того, чтобы не упоминать имени императора Павла.

Поэтому, называя себя гвардейцем в кригс-комиссариатском сертуке, майор как бы намекал на причины отставки и временность ее. На деле он должен был выйти в отставку так же, как и брат его Василий Львович, потому что для гвардейской жизни не хватало средств, а кригс-комиссариат давал жалованье.

У него вместе с матерью, братом и сестрами были земли в Нижегородском краю. Село Болдино было настоящая боярская вотчина, три тысячи душ, да беда была в том, что в несчастном разделе, девять лет назад, принял участие и единокровный сын отца от первого брака и оттягал большую часть земли и душ себе и своей матери.

В душе своей Сергей Львович навсегда сохранил с этого времени опасливость по отношению к родне, а единокровного брата изгладил из памяти.

В вотчине Сергей Львович никогда не бывал и болезненно морщился, когда матушка намекала — не без яду, — что не мешало бы, дескать, заглянуть. Знал, что числится тысяча душ, никак не меньше, что есть там в селе мельница на речке, от казны поставлен питейный дом, а кругом густой лес. А что там в лесу, неясно себе представлял — ягоды, волки. Получая доходы, всегда им радовался, как кладу или находке, и мгновенно чувствовал себя богачом. Когда же деньги задерживались, начинал смутно беспокоиться и тосковать. Гвардейское хозяйство было сквозное, и карманы дырявые.

Между тем, как гвардеец и человек молодой и чувствительный, притом, как говорили о нем барышни, *бельэспри*¹, Сергей Львович имел постоянный успех.

Он так тонко объяснялся по-французски, что невольно присвистывал и гнусавил, говоря по-русски.

¹ Остроумец (от *фр.* bel esprit).

Зная все новые французские романсы, он питал интерес и к отечественной словесности. Его удовлетворяла литературская вольность и общежительность. Где можно было отдохнуть сердцем? — Среди литераторов. Сергей Львович отдыхал среди них и никогда не пропускал случая посетить Николая Михайловича Карамзина, пророка всего изящного. Нынче он несколько перегорел, охладился, стал более существенен, но был всегда снисходителен и любезен, мудр. Для Сергея Львовича он был как бы путеводной звездой. Он жил по-прежнему в доме Плещеева, по Тверской.

Два с половиною года назад Сергей Львович женился. Жена его была существо необыкновенное. Петербургские гвардейцы звали ее «прекрасная креолка» и «прекрасная африканка», а ее люди, которым она досаждала своими капризами, звали ее за глаза арапкою.

Она была внучкою арапа, генерал-аншефа, а ранее друга и камердинера Петра Великого, известного Абрама Петровича. Злодей отец бросил ее с матерью в самых ранних годах, и она росла как бы сиротою. В судьбе ее, впрочем, приняли участие ее дядя, генерал-цейхмейстер Аннибал, владевший прекрасным именем Суйдой, да генерал-майор Аннибал, живший в Псковском округе. Братья Пушкины, случалось, гащивали у генерал-цейхмейстера, а брат Василий Львович, занимавшийся стихотворством, даже воспел Суйду и ее хозяина. Да и отец их, арап, тоже не был камердинером, а скорее всего другом императора Петра, а если и был, то все же имел чин генерал-аншефа. Аннибал было гордое имя. Кроме того, Надежда Осиповна была очень хороша. Влюбившись без памяти, Сергей Львович приволокнулся по всем правилам хорошего круга и вовсе не рассчитывал жениться. Однако очень скоро просил руки, все еще не думая, что женится, и неожиданно получил согласие красавицы.

Несмотря на запутанные семейные обстоятельства, она принесла майору небольшое сельцо в Псковской

губернии; дано было также понять, что после смерти отца она получит изрядное село по соседству. Отец же ее хотя и не был злодей в собственном смысле, но был человек крайнего легкомыслия — он женился от живой жены на одной псковской прелестнице тогдашних времен, уловившей его и обобравшей до нитки; притом не только его, но и семью, и даже брата. Мотовство его было удивительное, он был враг денег и точно все время летел вниз по откосу, не имея времени остановиться. Когда появлялись деньги, он тотчас на них покупал золотые и серебряные сервизы для прелестницы. Дело о двух женах, из которых каждая считала его и другую жену злодеями, заняло бóльшую часть его жизни; тяжба со второю тянулась и теперь. Старая прелестница то съезжалась с Осипом Абрамовичем, то уезжала от него и в обоих случаях требовала денег. Теперь он жил, проводя, по слухам, дни в удивительных для старика непотребствах, в своем селе Михайловском. Рядом же с Михайловским было сельцо Кобрينو, приданое молодой африканки.

Императрица Екатерина скончалась. Гвардейские шалости приутихли. У молодых родилась дочь Ольга. Из Петербурга приехала гостить матушка Марья Алексеевна. Сергей Львович, увидя себя женатым, вышел в отставку. Ему было двадцать девять лет. Семейный дом рисовался Сергею Львовичу так: увитый плющом, с белыми колоннами (пускай деревянными). И это было первое его смутное недовольство жизнью — он, оказалось, мало смыслил в выборе и устройстве своего дома и счастья. Дом был наемный, случайный, и житье сразу же пошло временное. Ни усадьба, ни Москва, окраина — и не дом, а флигель, который построили на живую нитку английские купцы, под контору. Нынешний государь был крутого нрава, англичан не любил — они дом продали чиновнику и уехали. Сергей Львович ненавидел всякие хлопоты. Он сразу снял дом, благо был дешев.

От холостого житья осталась клетка с попугаем да другая с канарейкой, но образ жизни круто переменялся. Месяц тому назад у него родился сын, которого он назвал в память своего деда Александром.

Теперь, после крестин, собирался он устроить куртаг¹, как говорили гвардейцы, — скромную встречу с милыми сердцу, как сказал бы он сейчас.

3

Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей и зятю родню, она беспокоилась, как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убирали, терли мелом фамильные подсвечники, выметали сор из сеней. И сору было много.

В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни город Липецк, невдалеке от которого была усадьба ее отца и в котором она жила барышнею. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами. Груш и вишен — горы. Девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели; от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные, из столиц — купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах, страстен и на все готов для невесты. А оказался злодей.

Будучи нагло покинутой с малолеткой-дочерью на руках, без всякого пропитания, поехала она в деревню к родителям; но родитель был уже стар, арап, вторгшийся

¹ Прием (от нем. Kurtage).

в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так арап стал двойным злодеем.

После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью.

И Марья Алексеевна, которой пришлось потом, ни вдовой, ни мужней женой, жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом, на хлебах у свекра-арапа, и в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места непостоянными и неосновательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра-арапа жила она в Суйде на антресолях. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и перебралась с Надеждою в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж — хоть и злодей — морской артиллерист, и она чувствовала себя военною дамою. Житье было походное: зорю бьют — вставать, горнист — к обеду. Мимо окон бряцали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих.

Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина, и Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них — для порядка, и опять попала она на антресоли, как когда-то у свекра-арапа, только теперь с внучкой Ольгой.

Людей Марья Алексеевна перевидала много, привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось.

А Липецк как был, так, говорят, и стоит.

У ней на руках было теперь все зятево хозяйство, небольшое, но трудное. Дворня невелика, но распушена и отбилась от рук. Повар Николашка — пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из дворни — испытанную мамку и няню Иришку. Доходы поступали, против ожидания, в эти годы туго. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования: решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ — легко сказать! А сахару в доме нет, и в лавочку задолжали. Все лежало на ней одной, Сергею Львовичу только бы юркнуть из дому. А Надеждины порядки ей не нравились, и она не доверяла ее уменью устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери не свои черты; она и лицом пошла в отца, в арапа; и ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод: равнодушные и леность, по целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом — вдруг, как муха укусит, все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить.

А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит.

— Аришка, на кухню сбегай! Николашка поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!

4

Первыми приехали свои, Пушкины. Прибыли сестрица Лизанька с мужем да сестрица Аннет. Марья Алексеевна их не любила и не могла долго усидеть, когда сестры болтали. Лизанька была пуста, по ее мнению. Выбрала мужа много моложе себя; Марья Алексеевна делала невольное сравнение между Сонцевым и Сергеем Львовичем, и Сонцев оказывался лучше. Он был толстоват, добрее и спокойнее, чем их маиор, — не бегают со двора. Не франтоват, да мил — ходит завитой, как бара-

шек. Действительно, Матвей Михайлович Сонцев был завит по последней моде — а-ля Каракалла. Аннету же, Анну Львовну, Марья Алексеевна не любила за фальшь. Анне Львовне было уже тридцать лет (далеко за тридцать — говорила Марья Алексеевна), а она все еще ждала женихов, прихорашивалась и говорила томно, нараспев. К Сергею Львовичу она относилась восторженно, заботилась о его бледности и умоляла беречь себя. Надежде же Осиповне возила сувениры, по мнению Марьи Алексеевны, безделки и ничего боле. Перышки и пряжечки.

В последнее время Анна Львовна как будто дождалась: недавно Сергей Львович сообщил, что Иван Иванович Дмитриев, человек на виду, петербургский поэт и действительный статский советник, сватался к Анне Львовне. Марья Алексеевна поздравила, но втайне не поверила. Когда бывали сестры, она часто выходила по хозяйству, а на деле для того, чтобы перевести дух.

— Вздоры, — говорила она негромко и возвращалась.

Василий Львович с женою приехали в отличной, лакированной, звонкой, как колокол, коляске. И Марья Алексеевна оживилась. Она любила эту пару. Василий Львович, быстрый в движениях, всегда готовый к разговору и веселости — эфемер, — явился на этот раз во всем великолепии: прическа а-ля Дюрок и, несмотря на суровое время, довольно толстое жабо. Впрочем, это свое жабо он скрывал под плащом. Кстати, плащ скрывал и фигуру — Василий Львович очень знал, что он кособрюх и тонконог. А рядом сидела женщина, которою он тщеславился более, чем своим титулом поэта, своею родословною, коляскою, — неотразимое существо, его жена Капитолина Михайловна. Они ехали, вызывая всеобщее внимание.

Чувствуя его, Василий Львович до самого конца Басманной имел загадочный и равнодушный вид. И только когда дома стали хуже и заметных людей меньше, он

позволил себе несколько раз оглянуться по сторонам и увидел, что внимание относится всецело к его жене и нисколько не к нему.

— Mon ange¹, mon ange, — пролепетал он с огорчением, но тут же и восхищаясь, — покройте плечи, ветрено...

И сам накинул шаль на эти плечи.

Встречаясь с Капитолиной Михайловной, Марья Алексеевна всегда улыбалась, шурила глаза, как делали в Петербурге тридцать лет назад, когда хотели выказать расположение.

О Капитолине Михайловне говорили разное, и в гвардии ее звали «Цырцея», но, считая всех мужчин злодеями или готовыми на злодейство, Марья Алексеевна не осуждала женской ветрености. «Молодо — зелено, погулять велено», — говорила она и победно поджимала губы.

Гостей Марья Алексеевна и Сергей Львович встречали в зале.

— Надежда сейчас выйдет, — сказала Марья Алексеевна, и сестрицы обиделись. У одной в руках были сувениры. Братья стали друг другу рассказывать вполголоса одну и ту же историю: мадам Шню, содержательница известного кофейного дома, славная своим безобразием, на прошлой неделе окривела на правый глаз. Неелов написал на нее экспромт.

Экспромт был смешной, не для дам. Они повысили голоса. В Марфине у графа Салтыкова на прошлой неделе Николай Михайлович пел в своем водевиле, в интермедии, в прологе, в пиесе своей собственной — прекрасно, — граф его во всем слушался, накануне велел декорации менять по одному слову. Материя, впрочем, довольно обыкновенная: сельская любовь, ривалите²,

¹ Мой ангел (*фр.*).

² Соперничество (от *фр.* rivalité).

и из армии приезжает добрый муж, сам граф, — все захопало, когда он вышел, — и соединяет любовников. Но как все выражено! Стихи, напев! В Петербурге уже известно. Танцы в легких нарядах исполнили девки неопишимо. Десять тысяч обошлось. Первый из братьев с нетерпением ждал, когда другой замолчит, и как бы помогал ему скорее кончить, подражая движению губ говорящего.

Сергей Львович заметно мешал Василию Львовичу, лично бывшему в Марфине и поэтому гораздо лучше знавшему все подробности спектакля. Василий Львович хотел сказать о названии, которое Николай Михайлович дал пьесе, но Сергей Львович его перебил. Название было: «Только для Марфина». Василий Львович кивал досадливо Сергею Львовичу, а потом осмотрелся кругом и увидел, что все свои. Он зевнул.

Вошла плавно Надежда Осиповна, поцеловалась с женщинами. В руках она мяла платочек; ладони и пальцы были у нее в «родимых пятнах», желты, как опаленные, — след африканского деда.

Она улыбнулась Василию Львовичу. И от этой улыбки все изменилось.

И Василий Львович, стихотворец, закосил: взглядом знатока он перебежал с белых плеч своей Цырцеи на смуглые — невестки.

Он все хотел сказать комплимент и наконец сказал его. В стихах своих он стремился к логике и поэтому избегал картин природы; главное достоинство свое он полагал в шутливости. Но как только видел прекрасных — таял и вспоминал чьи-то стихи, безыменные мадригалы, отрывки, может быть даже свои собственные. И в стихах и в жизни он был эфемер.

Между тем люди накрывали стол в саду, под липою, довольно тощей.

Ждали двух важных гостей: Николая Михайловича Карамзина и француза Монфора. Монфор, или граф

Монфор, как он себя называл, был еще молод и всегда весел, живописец и музыкант; происходил из города Бордо и прибыл в Москву недавно, официально числясь при свите герцога Бордоского, который жил с братом казненного французского короля, Людовиком, в Митаве. Изгнанные из Парижа и Франции, они жили в России, пользуясь гостеприимством императора Павла, или, как говорили военные, — на хлебах.

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили локонны и улыбнулись. Анна Львовна улыбалась по-новому: полузакрыв глаза и шевеля губами, точно шептала что-то или жевала сладости. Потом она сказала Марье Алексеевне, что ужасно как дичится этих французов, потому что с ними опасно связываться, тотчас попадешь в лабетки¹. Марье Алексеевне ее улыбка показалась неприличной. Она вышла за дверь, сказала сердито и негромко:

— Хаханьки! — и вернулась.

Николай Михайлович Карамзин был грустен и одет просто.

— Как щегольство сейчас не в милости, — сказал он тихо, — я к вам запросто.

Как только Николай Михайлович прибыл, все парами прошли в сад. Сергей Львович вдруг скрылся; он вернулся к себе в кабинет, отпер шкатулку; не считая, достал последнюю пачку ассигнаций и кликнул камердинера Никиту.

— Никишка, — сказал он торопливо, — вина мало, беги в трактир, какой знаешь, и купи одну-две-три бутылки бордоского, бургонского, что найдется. Живо! Да сертук не замарай.

Он заботливо обдернул кружевные манжетки на Никите. Камердинер Никита был одет в нарядный синий сертук.

¹ В дурочки (от *фр.* la bête).

— Балладу не забыл? Всю помнишь?

— Помню-с, — ответил камердинер Никита, — своего, чай, сочинения, не чужого.

Камердинер Никита был сочинитель; недавно Сергей Львович обнаружил, что Никита написал длинную стихотворную повесть. Прическа и новый сертук не шли к нему. Он был среднего роста, рябоват, белокур. Спокойствие его было поразительно. Сегодня Сергей Львович приготовился блеснуть Никитою. Никишкина стихотворная повесть о Соловье-разбойнике и Еруслане Лазаревиче была забавна. Сергей Львович назвал ее балладой и беспокоился, не позабыл ли Никита текст.

5

Все было предусмотрено, и можно было наслаждаться уютом и приятною беседою. Под липою, в саду, всем оставалось чувствовать и вести себя со всею свободой, как в сельском уединении.

Сад был мал, и в этом было его достоинство. Огромность противоречила простоте, а правильные сады более не действовали на воображение. Сельский букет стоял на круглом столе. Лет десять назад такой букет не поставили бы на стол.

Время было тревожное и неверное. Каждый стремился теперь к деревенской тишине и тесному кругу, потому что в широком кругу некому было довериться. Огород, всегда свежий редис, козы, стакан густых желтых сливок, благовонная малина, простые гроздья рябины и омытые дождем сельские виды — все вдруг вспомнили это, как утраченное детство и как бы впервые открыв существование природы. Даже участь мещанина или цехового вдруг показалась счастливой. Свой лоскут земли, плодовый при доме садик, на окошке в бурачке розовый бальзамин — как старые поэты не замечали прелести такого существования! Они пристрастились

к войне, пожарам природы и всеобщему землетрясению. А эти домики походили на чистые клетки певчих птиц. Но ведь таково счастье человека.

Бледный цвет входил в моду, и в женских нарядах получили большую силу нежные переливы, потому что грубые краски напоминали все, от чего каждый рад был сторониться. Даже роскошь постыла всем. Все увидели на опыте ее бренность. Удовольствие доставляла только печаль. И уголок в саду летом, как угол перед камином зимою, был для всех приятным местом, вполне заменявшим в воображении свет. Были в ходу *jeux de société*¹ — игры, которые разнообразили время. Играли в шарады, буриме, акrostихи, что даже развивало стихотворные таланты. О придворных делах говорили тихо, а о своих только со вздохом.

Сергею Львовичу почудилось, однако, что позабыли что-то приготовить, купить, на Марью Алексеевну нельзя было положиться, на Nadine надежды плохи. И он так занялся этими мыслями, что не заметил, что серебро и вправду было не чищено, а из двух графинов поставлен надтреснутый.

Но Надежда Осиповна всем улыбалась и ровно показывала в улыбке белые зубы.

Он успокоился.

«...И ряд зубов жемчужный», — подумал чьими-то стихами Василий Львович, — у Капы мельче, а у девки, у Аннушки, всех лучше.

Василий Львович разговаривал с французом. Свобода обращения, готовность ко всему и быстрая речь; при этом — полное снисхождение к женскому полу — он все это брюхом чувствовал, все это было для него родственное, свое. Лет двадцать назад было много французов и в Москве и в Петербурге, но что это были за французы! Хозяйки модных лавок, камердинеры да *les outchiteli*. Некоторые из них были забавны. Теперь же благодаря перевороту прибыли, спасаясь, люди настоящего бла-

¹ Салонные игры (*фр.*).

городства, а как они были в нужде и стесненных обстоятельствах, то за семь лет к ним попривыкли и не очень чинились. Даже принцев крови можно было в конце концов залучить на обед. Теперь шла война с санкюлотами, и они опять вошли в моду.

А впрочем, камзол у графа был довольно затрепан, граф обносился, и дела его были запутаны. Царь в последнее время стал скупиться и упрямиться, и у свиты, да и у самого короля не было денег. Граф, собственно, собирался, для развлечения от скуки, давать уроки французского языка, а если придется — живописи или, пожалуй, музыки. Сергей Львович, по некоторым признакам, заключил, что граф будет просить займы, и заранее мысленно перед ним извинился отсутствием денег.

Главным лицом был, разумеется, не граф. Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было тридцать четыре года — возраст угасания.

Время нравиться прошло,
А пленяться, не пленяя,
И пылать, не воспаляя,
Есть дурное ремесло.

Морщин еще не было, но на лице, удлинённом, белом, появился у него холод. Несмотря на шутовство, несмотря на ласковость к щекотуньям, как называл он молоденьких, — видно было, что он многое изведal. Мир разрушался; везде в России — уродства, горшние порою, чем французское злодейство. Полно мечтать о счастье человечества! Сердце его было разбито прекрасной женщиной, другом которой он был. После путешествия в Европу он стал холоднее к друзьям. «Письма русского путешественника» стали законом для образованных речей и сердец. Женщины над ними плакали.

Он издавал теперь альманах, называвшийся женским именем «Аглая», которым зачитывались женщины и который начал приносить доход. Все — не что иное, как

безделки. Но варварская цензура стесняла и в безделках. Император Павел не оправдал ожиданий, возлагавшихся на него всеми друзьями добра. Он был своеволен, гневлив и окружил себя не философами, но гатчинскими капралами, нимало не разумевшими изящного.

И его грусть вносила всюду порядок и умеренность. Знакомства с ним желали, чтобы успокоить сердце.

Пушкиных он называл: мои нижегородские друзья — у него были поместья в Нижегородской губернии. Провинциальная или сельская, поместная жизнь сближала людей, живших в столицах.

Сейчас мысли его были рассеяны. Глядя на хозяйку, он сказал, обращаясь к Сонцеву, о том, как милые женщины умеют из простоты делать изящное и, подражая, оставаться собою. Надежда Осиповна была одета по моде, в легкое белое платье, высокая талия и ленты узлом. Подражание в модах французам запрещено: с мужчин еще недавно срывали на улицах круглые шляпы (*à la jacobin*¹) и фраки, но женщины уцелели — и высокая талия перенята у вольных француженок. Эти сомнительные наряды были более в моде, чем тяжелые дамские сертучки, которые император всячески поощрял и которые носили придворные дамы. И Надежда Осиповна вспыхнула от удовольствия.

И он сказал о том, чем жил и на что надеялся все эти дни, — о поездке в Карльсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрепятствуют выехать для лечения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карльсбаде.

— Боже, — сказал он, — представляю себе счастливый климат Хили, Перу, острова Святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодородные деревья, и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары.

И все вздохнули, в восторге от того, что слышали, и как бы участвуя в этой для всех важной и приятной

¹ Наподобие якобинских (*фр.*).

печали. А Марья Алексеевна тотчас сказала лакею Петьке принести прохладительного.

Карамзин улыбнулся старинному простоудию и, казалось, повеселел. Обед сошел как нельзя лучше. Сергей Львович предался еде. Пастет из дичины был в меру горьковат. Разбойник Николашка готовил лучше, чем в Английском клубе. И если бы за него предложили десять или пятнадцать тысяч, — Сергей Львович не продал бы; а если бы и продал, жалел бы. Он ел медленно, страстно, со знанием дела.

После обеда, приятно ослабев, перешли в гостиную, чтобы провести время до вечернего чая. В полутемном зале пахло слегка затхолью, но Карамзин с удовольствием оглянулся по сторонам и сказал, что всякий раз дом их напоминает ему Лондон.

Сергей Львович, никак не могший привыкнуть к дому, почувствовал все его достоинства.

Устроились *petis jeux*¹, играли в буриме; писали стихи на заданные рифмы. Рифмы были: *nouveauté — répéter*², *avis — esprit*³.

Карамзин, разумеется, написал гораздо изящнее и ловчее Василья Львовича и гораздо умнее, чем Монфор.

Все невольно захлопали его катреню.

Монфор довольно счастливо рисовал кудрявых, как Сонцев, купидонов с луком и стрелой. Все попросили его показать свое искусство, и он охотно нарисовал в альбом Надежде Осиповне слепого купидона, оттенив выпуклости рук и ног, мелко завив волоса и означив ямки на щеках.

Василий Львович недаром просил нарисовать купидона. Он слышал о надписях: находясь в гостях у одной прекрасной женщины, Карамзин, с позволения хозяйки, исписал карандашом мраморного амура, стоявшего

¹ Игры (*фр.*).

² Новшество — повторять (*фр.*).

³ Мнение — разум (*фр.*).

в комнате, с головы до ног. С легкой улыбкой он согласился вспомнить стихи и написал вокруг Монфорова амура по разным направлениям стихи: на голову —

Где трудится голова,
Там труда для сердца мало;
Там любви и не бывало;
Там любовь — одни слова,

на глазную повязку —

Любовь слепа для света
И, кроме своего
Бесценного предмета,
Не видит ничего,

и, наконец, на палец, которым Амур грозил, —

Награда скромности готова:
Будь счастлив — но ни слова!

Василий Львович заколыхался от удовольствия. Эта людскость, светскость восхищала его и нравилась ему. Дрожа от восторга и страха при одном взгляде на свою Цырцею, Василий Львович одновременно допускал шалости с крепостными девушками, а также на стороне, у известной сводни Панкратьевны, — он любил простонародный тон в любви, — но при всем этом старался соблюсти самую строгую тайну и был скромнен. Он досадовал на брата, что в комнате нет мраморного амура; он помнил еще несколько экспромтов на руку, на крыло, на ногу, на спину амура, а альбомный листок был уже кругом исписан.

Заставили сестрицу Аннет, невесту поэта, пропеть его песню, которая была у всех на устах:

Стонет сизый голубочек...

У Анны Львовны был тонкий голос, а тонкие, высокие голоса были в моде. Марья Алексеевна вышла распорядиться чаем и сказала за дверью:

— Голос писклив.

Заставили петь и Надежду Осиповну, и она спела: «Плавай, Сильфида, в весеннем эфире». Она пела низким голосом. Голос был гортанный, влажный, рокочущий на «р». Сергей Львович слушал, скосив глаза, слегка ошалев от грусти и воображения. Прямо перед ним были плечи невестки, и он, повторяя одними губами слова, одновременно как бы и целовал эти славные в гвардии плечи. Василью Львовичу пение Надежды Осиповны напомнило хриповатое пение цыганок, смуглых фараонит, а не песни милых женщин, но, впрочем, очень понравилось.

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!
С розы на розу в весельи летай!

Николай Михайлович был растроган до слез. Слова романса были связаны с воспоминаниями.

— Коли б не нетерпение, так была б музыкантка, — сказала Марья Алексеевна.

У всех было приятное настроение людей, которые недаром встретились и умеют ценить друг друга.

Густой багровый закат смотрел в окно и предвещал вёдро. Сестрица Аннет сказала:

— Ну в точности Оссиан!

И Карамзин улыбнулся ей снисходительно, как дитяти.

Появилось вино, и, чувствуя туман, влажность и тепло на глазах, что было всегда для него знаком вдохновения, он сказал не английский тост или спич, а то, чем было полно сердце: он предложил выпить за свою отчизну — Симбирскую губернию, где родился и провел годы невинности, и за друзей — поэтов-симбирцев. Это был Дмитриев. Карамзин получил письмо от поэта, поэт собирается в отставку, кинуть влажный Петербург и будет жить в Москве. Уже присмотрен домик у Красных ворот, вокруг домика садик — все есть для счастья Филемона, и нет одной Бавкиды.

Все, как по уговору, стали чокаться с Аннет, и Аннет покраснела до самых корней волос.

— Друзья, — сказал Карамзин, — Гораций прославил Тиволи, а я пью за Красные ворота и за Самарову гору!

Самарову гору неподалеку от Москвы, против Коломенского, на берегу Перервы он в особенности любил, здесь он обдумывал «Бедную Лизу» и «Наталью» и твердо решил — если не удастся за границу — здесь основать свое убежище, открытое для всех друзей человечества, всех истинно умных, наподобие приюта Жан-Жака.

И после этой легкой грусти захотелось простодушия.

Было самое время показать Никиту, домашнего поэта, и выслушать забавную его балладу. Успех Никиты был полный. Карамзин смеялся от души, потом призадумался и сказал с серьезностью о новых Ломоносовых. Приказом императора родственники Ломоносова были исключены из подушного оклада, и о забытом поэте опять вспомнили, на этот раз с полным уважением, простив ему дикий вкус, который, конечно, был у всех в далекие времена. У младших развязались языки. Все старое было нынче смешно. Заговорили о Державине.

С Державиным у Николая Михайловича был род дипломатической дружбы — старик посылал ему для напечатания свои стихи, а Карамзин скрепя сердце печатал и посмеивался. Василий Львович тотчас привел два державинских стиха из оды на смерть старика Бецкого, который умер четыре года назад:

Погас, пустил приятный
Вкруг запах ты...

Державин сравнивал старика Бецкого с ароматным огнем лампы, но без упоминания о лампаде стих становился двусмыслен и даже неприличен. Василий Львович лепетал все это лукаво. Все заулыбались, а женщины не успели или не захотели разгадать шутки.

— Так наш Гаврило Романович любит ладанный дым, — тонко сказал Карамзин, улыбаясь тому, как Василий Львович осмелел при женщинах.

Он погрозил ему пальцем.

— Вы старый бриган, разбойник с галеры, — сказал он ему.

Василий Львович даже похорошел от удовольствия. «Галера» — было веселое и слишком веселое общество в Петербурге. О нем и похождениях его членов рассказывали чудеса. Василий Львович был один из главных членов его, и эту петербургскую славу очень ценили в Москве. Все подозревали за ним такие шалости, на которые он даже был неспособен. Красавица Капитолина Михайловна главным образом и прельстилась этой славой.

И тут Карамзин упрекнул его в лени — самый сладостный для поэта упрек, — напомнив о своем альманахе. Василий Львович захлебнулся и забрызгал мелко слюною: у него ничего нет достойного... а впрочем, есть, много есть... разных... безделок.

Сергею Львовичу также хотелось блеснуть, но он боялся. В шкапу лежали у него списки вольных стихотворений, не какие-нибудь приказные грубости или похабства — их он хранил только потому, что редки, — но именно вольные и легкие стихотворения, где все описывалось под дымкою и покровом, а самые пылкие места живописались вздохами: «Ах» и реже «Ох». В других же стихотворениях осмеивался не только Эрот или женщины, но и важные лица. Сергей Львович досадовал: нельзя, нельзя... Нынче и безгрешное обращают в грешное, то есть, попросту говоря, притянут к Иисусу и... шкуру сдерут.

Когда Никита и Петька зажгли вечерние свечи и все уселись за чайный стол, он успокоился и почувствовал полное довольство.

Карамзин похвалил вишневое варенье:

— Это варенье ем я с истинным удовольствием.

В это время загромыхала какая-то колымага, зазвонил колоколец, и у самых ворот остановились.

Сергей Львович заметно побледнел.

В вечернее время звук подъезжающей колымаги для лиц, хотя бы и невинно пьющих чай, был неприятен. Так ездили фельдъегери. В сенях хрипло и бранчливо заговорили, и бледный Никита, открыв дверь, доложил, глядя испуганно в глаза Сергею Львовичу:

— Его превосходительство генерал-майор Петр Абрамыч Аннибал.

6

Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии; с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темно-зеленый, допотопной формы военный сертук, а двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился.

Он поклонился и рывком, толчками сказал:

— Дознался от братца... от Ивана Абрамыча... про радость... — Он метнул глазами по гостям. — А как я здесь проездом, долгом почел, — он поклонился Марье Алексеевне, — вас, сударыня сестрица, поздравить и вас, милостивый государь мой, — отнесся он безразлично к Сергею Львовичу, — а внука своего... поглядеть и крестик ему от деда...

Он отдохнул и спросил:

— Он где сейчас? Внук-ат?

Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все Аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Петр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относясь с участием к племяннице и судьбе ее, он, однако ж, ока-

зался вполне непригоден к опекунству и понял его как-то странно: ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марье Алексеевне, называл ее сударыней сестрицей, но в отношении денег отмалчивался. Объяснялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кой-как замял скандальное дело. К этому времени Петр Абрамыч, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицею из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы, оттуда послал жене уведомление, чтобы к успокоению его она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения.

Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамовича в денежные счета; по заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прельстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком сельце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил двоеженец-брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путаной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву.

Все были озадачены.

Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно ввиду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, были фамилия по необычности и известному всем началу не без значения и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствие

старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арапские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с женой роднею в присутствии лиц, мнением которых дорожил. *La belle créole*¹ была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа-дяди неуместно. Лицо его было совершенно арапское, и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый арап выказал младенцу, в честь коего Сергей Львович и устроил, в сущности, сегодняшний куртаг, смутило всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Верней всего, спал на антресолях.

Сам арап тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеваное, глазки живые, коричневые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой, а ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него. Старик вдруг остановил обезьяньи глазки на Сергее Львовиче и спросил хрипло:

— Может статья, я помешал?

Марья Алексеевна вдруг ответила, недовольно, но вежливо:

— Что ж, садись, Петр Абрамыч.

Арап улыбнулся; он оскалил белые зубы, и сморщенное печеным яблоком личико вдруг стало детским.

— Благодарю, сударыня сестрица, — сказал он нежно, и женщины увидели, что арап был старый любезник и мил.

¹ Прекрасная креолка (*фр.*).

Надежда Осиповна подошла к дяде.

— Какая стала, — сказал он комплимент, путая возраст, и поцеловал ее в лоб. — От отца зов, приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашею, — отнесся он к Сергею Львовичу. — Зовет летом у нас ягод поесть.

Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятней и приличней, чем он полагал: старый арап привез приглашение отца.

Предстоял разговор с тестем — быть может, о приданом. И летом приятна природа. Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома с детьми.

Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала:

— Тоже, посол явился, — и вернулась.

Петр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку.

Отпив, он серьезно всех оглядел, медленно двигая языком и губами.

Марья Алексеевна все смотрела на него каким-то далеким взглядом. Петр Абрамович попробовал вкус водки.

— Я, сударыня сестрица, — сказал он Марье Алексеевне, — настойки в простом виде не пью, я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости. Чтоб вишня, горечь, чтоб сад был во рту.

Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь.

Красавица Капитолина Михайловна кивнула ему вежливо; внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами.

Он осмотрел исподлобья комнату.

— Флигель теплый ли? — спросил он и, не дождав-шись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке. — Как нарекли?

Он был скор в переходах.

Сергей Львович нахмурился: дядя-арап назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид.

Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками.

— Великолепное имя, — сказал он. — Два величайших полководца, сударыня сестрица, в мире: великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильич — Суворов. Поздравляю, сударыня сестрица! Это великолепное имя вы выбрали.

— Имя дано более по фамильной памяти, — сказал неохотно Сергей Львович, — по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он — прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову, — добавил он тонко и покосился на Карамзина.

Суворов был в чести только у стариков. У него начиналась фликсена, или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо.

Петр Абрамыч посмотрел на него исподлобья и выпил рюмку полынной.

— Не припомню, сударь, — сказал он, — деда вашего, не знавал.

С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, — отрывисто и нелюбезно.

— Ан нет, — сказал он вдруг с хрипотой, — и деда помню. Это, помнится, тятенька еще покойный сказывал — Александр Петрович. Жену не у него ли, сударыня сестрица, зарезали?

Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо.

Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, — решительно это было бы оскорблением.

Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах, но зарезал-то ее не кто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени

которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоисступлении, и всю остальную жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо.

Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа, это было, вероятно, просто внезапное старинное воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-майор еще до наливки сегодня кушал водку.

Карамзин вмешался.

Он давно с любопытством поглядывал на арапа и теперь, тихо и важно, как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-майору путешествовать.

И по живым кофейным глазкам и по сухости, верткости действительно старик напоминал какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика.

Под любопытными взглядами он сидел спокойно — видно, что это было ему в привычку.

— Я, сударь мой, всю жизнь был по артиллерии и в царской службе, — сказал он с достоинством, — и точно ездил, а путешественником николи не был. А теперь, как открылась дальняя война, на чужой кошт, то беспрерывно буду проситься в дальные края... Без стариков обойтись не могут.

Карамзин мог бы обидеться — он был автор «Писем русского путешественника», — и если б можно было предположить, что генерал-майор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый арап обиделся самым словом «путешествие». Это показалось ему забавною чертою.

Марья Алексеевна искоса поглядела на деверя.

— Что так захотелось, — спросила она, — в дальние-то края? Из дому-то. Пустят ли тебя?

Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-майора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не выдав, и даже более, чем свою разлучницу.

— Я, сударыня сестрица, — сказал вдруг тихо и нежно генерал-майор, — тятенькина княжества хочу сыскать. Затем из дому еду.

Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не подымая глаз. Так он говорил с нею в молодости.

— Какого это княжества? — опять спросила Марья Алексеевна, и с явным недоверием.

— Арапского, — терпеливо сказал генерал-майор и метнул глазками в Карамзина, — в Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино княжество, по всему, быть должно. Тятенькин отец, дед-ат мой, князь был африканский.

Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой.

— Не слыхивала, — сказала Марья Алексеевна, — про губернатора. Что ж, Петинька, раньше за всю жизнь того княжества не нашел, ни братцы?

— Я, сударыня сестрица, занят был, — сказал Петр Абрамович, все так же нежно и отчетливо, — на государственной службе был занят, — повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя, — и не мог тятенькина княжества сыскать. То же и братцы.

Марья Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался в нем. Судьба арапа была презанимательная.

— Жизнь батюшки вашего необыкновенна, — сказал он учтиво. — Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории.

Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишило его всякого доверия к Карамзину.

— У меня, сударь, ничего нет, — сказал он опасливо, — да и тятенька не любил этих бумаг. Может, что и есть у братца, у Ивана Абрамовича.

Растрата снарядов, а теперь тяжба приучили генерал-майора бояться бумаг.

Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Сонцева, который слыл вестовщиком:

— Правда ли, Кутайсов уезжает?

«Уезжает» означало «впадает в немилость».

Кутайсов был пленный турка, дареный цирюльник, — а теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцех.

— Напротив того, — отвечал с удовольствием Сонцев, — кавалер Александра Невского.

У него были приятели в герольдии, приказ заготовлялся.

Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись.

— Кутайсов, — сказал он сипло, — камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит. А батюшка мой по заслугам отличен. Потому я именем Петровым и назван.

Собственно, ход мысли Карамзина и был таков: ему было известно, что славный арап был камердинер или денщик императора Петра. Поэтому он и вспомнил о Кутайсове.

Он смутился.

— Батюшка мой, — сказал брыкливо старик, — сам князь был, только что африканский. А вызван для примера. Фортификации учить. А что он черен, то больше был лицом нагладен и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова.

Согнув палец, он показал перстень с черной печатью.

Он пил теперь непрерывно — стакан за стаканом, и бутыль с настойкою пустела.

— Тому документ есть верный, немецкий. Только я, сударь, его вам не дам.

Он начинал хмелеть.

— Жадный, — сказала Марья Алексеевна.

И опять старик покорился.

— Верьте, сударыня сестрица, я всегда и вечно ваш, — сказал он невестке, — а что тятенька с лица был

нехорош, так сердцем-то, сердцем — прямой Аннибал. Даю слово Аннибала.

Марья Алексеевна вдруг сказала со вздохом:

— Сердцем-то зол был и с лица нехорош, а вот куртуазии¹ у него было поболее, чем у вас, Петинька. Он *улыбаться* умел, — сказала она значительно.

Петр Абрамович загляделся на невестку.

— Эх, сердце золотое, — сказал он и вдруг раскрыл в улыбке белые зубы.

— Лучше, лучше был, и зубы белее, — махала ручкой Марья Алексеевна.

Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало: Карамзин не обиделся ли?

Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился.

Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо. Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем Петр Абрамыч положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком.

Он и правда видел у братца Ивана Абрамыча документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы-маиоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою репутацию. Сыновья по приказу старика, скопом, с прес великим трудом, с помощью знакомого немца-аптекаря прочли ее и вытвердили.

Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый арап вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все наперерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб, которым теперь возгордился Петр Абрамыч: скрещенные над подзорной морской трубою знамена, а надо всем — сова — ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке.

¹ Учтивости (от *фр.* *courtoisie*).

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----|
| Часть первая. ДЕТСТВО | 5 |
| Часть вторая. ЛИЦЕЙ | 206 |
| Часть третья. ЮНОСТЬ | 510 |

Литературно-художественное издание

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ТЫНЯНОВ

ПУШКИН

Ответственный редактор Алла Степанова

Художественный редактор Валерий Гореликов

Технический редактор Татьяна Раткевич

Компьютерная верстка Ирины Габовой

Корректоры Юлия Теплова, Анастасия Келле-Пелле

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 13.11.2018. Формат издания 75 × 100¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 28,2. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

12+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®

115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:
www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-AKB-24050-01-R